

От автора

Детство — это родина сердца.
Чьи слова? Кажется, мои, хотя, возможно, я их где-то когда-то встретил, затвердил, забыл и теперь вот вспомнил. С возрастом непоправимо мудреешь от пережитого, увиденного и прочитанного.

Иногда из интереса я листаю книги, отмеченные разными премиями. Попадают сочинения и о детстве, прошедшем в Советском Союзе, в котором мне тоже довелось родиться и возмужать. От чтения некоторых текстов остается ощущение, что будущие литераторы выросли в стране, где их мучали, тиранили, терзали, унижали, пытая мраком безысходного оптимизма, глумливо бодрыми пионерскими песнями, сбалансированным питанием и насильственным летним отдыхом. Оказывается, во дворе их нещадно лупили за вдумчивый вид или затейливую фамилию. Наверное, родившись чернокожими работягами в колониальном Конго, эти авторы были бы намного счастливее...

Если верить подобным пишущим фантазерам, в те жуткие годы, озадачив учителя неправильным вопросом про светлое будущее всего человечества — коммунизм, можно было остаться на второй год или даже отправиться в колонию для малолетних преступников. Ну, а тех вольнодумцев, кто отказывался ходить в уборную строем с песней, ждал пожизненный волчий билет.

Особенно страдали, как выясняется теперь, дети, прозябавшие в высших слоях советского общества. Страшные темные дела творились в просторных цеховских квартирах, на академических дачах и в недоступных артеках. Возможно, так оно там и было... Не знаю, не посещал. Но вот у меня, выросшего в заводском общежитии Маргаринского завода, от советского детства и отрочества остались совсем иные впечатления, если и не радужные, то вполне добрые и светлые.

Об этом моя новая книга. Я писал ее с трепетом, погружаясь сердцем в живую воду памяти, извлекая из глубин сознания милые мелочи минувшего, перебирая забытые словечки ушедшей эпохи, стараясь воплотить в языке тот далекий, утраченный мир, который исчез навсегда вместе с Советским Союзом — со страной, где, устремляясь в будущее, так любили для скорости сокращать: «ликбез», «колхоз», «комсомол», «райком», «спортзал», «детсад», «совдетство»...

Сознаюсь, это очень непросто — воссоздавать ушедшее время: многое забылось, исказилось, покрылось домыслами, а что-то преобразилось под поздними впечатлениями до неузнаваемости. Если вы, дорогие читатели, обнаружите в моей книге неточности, искажения, а то и откровенные ошибки, прошу не счесть за труд и сообщить мне по адресу:

yuripolyakov@inbox.ru

Переиздавая «Совдетство», я непременно исправлю замеченные вами оплошности. Заранее благодарен!

А напоследок вот еще одно наблюдение: тем, кто не любит свое советское детство, и нынешняя наша Россия категорически не нравится. Такая вот странная закономерность...

Юрий Поляков,
Переделкино, 10 июня 2021 г.

СОВДЕТСТВО

Книга о светлом прошлом



**ЗАСТАВЛЯЙ СЕБЯ ЕСТЬ
ЧЁРНУЮ ИКРУ!**

РЫБИЙ ЖИР

Пцыроха

Вместо пролога

Я проснулся до будильника и лежу с закрытыми глазами. Тимофеич допоздна слушал футбол и забыл выключить «шляпу». Это у него бывает, потому что в полночь, сразу после гимна, радиоточка замолкает сама собой. А вот по транзистору, крутя колесико, можно хоть до утра ловить чужую, вихляющую музыку, которую дядя Юра Батулин, по прозвищу Башашкин, называет «джазом». А еще можно поймать иностранное бормотание, даже китайское, похожее на смешное кошачье мурлыканье.

Утро тоже начинается с гимна. Сперва слышится мерное пощелкивание, словно на патефон поставили треснувшую пластинку. Потом комнату заполняет кипящий мотив нашей Родины — страны с ритмичным именем СССР и гербом, похожим на мяч, влетевший между хлебных снопов. Летом на Волге мы с деревенскими играли в футбол, сложив ворота из вязанок ржи, забытых в поле колхозниками. Однажды мяч упал в воду, его понесло течением и выбросило на песок, когда прошел, ухая винтом, большой белый теплоход.

Я лежу в темноте, слушая гимн. Музыка вскипает и накатывает торжественными волнами, высокими, как от четырехпалубного «Валерия Чкалова». Я думаю о Шуре Казаковой. Сегодня она должна вернуться в класс: ее отправляли на целую четверть лечиться в «лесную школу». Что-то с легкими. Об этом сообщила в конце урока Ольга

Владимировна и странно на меня посмотрела. С Шурой мы целый год сидели за одной партой, и когда ее увезли, мне стало так скучно, что я неделю не ходил в класс. Сказал: кружится голова, а в глазах роятся мухи, как у бабушки.

— Черные? — уточнила участковая врачаха Скорнякова, срочно вызванная ко мне на помощь.

— Белые мухи, — на всякий случай соврал я: индейский вождь Одинокий Бизон так называл снежинки.

— Странно, — задумалась она, поглаживая свои редкие усики. — Надо сдать анализы. И питаться лучше! Мамаша, ну что это такое? Ребра, как стиральная доска! Рыбий жир — срочно!

Лучше бы я подвернул ногу! Родители мне, конечно, сразу поверили, а бабушка Аня даже обрадовалась: «Вот! Я вам давно говорила: малокровие. Посмотрите: краше в гроб кладут!» Это, разумеется, неправда: грузчик Шутов со второго этажа выглядел гораздо хуже меня. Когда соседи прощались с ним во дворе общежития, нас, детей, к гробу близко не подпускали, но я успел увидеть сквозь толпу мертвое накренившееся лицо. Оно было серо-синего цвета, как мой испорченный свитер. Рассмотрел я и его сцепленные руки, которые он на себя наложил. Ужас!

Услышав про питание, Лида тут же сбегала в аптеку за рыбьим жиром и гематогеном, отдаленно напоминающим шоколад, по пути зашла в гастроном на Бакунинской, где купила черный кубик паюсной икры и сто граммов севрюги, нарезанной тонкими, как промокашка, ломтиками. Почему-то она уверена, что больным детям необходимы именно икра и севрюга, а не конфеты, пирожное «Картошка» или, скажем, мои любимые вафли «Лесная быль». Взрослые в еде ничего не смыслят.

...Громко чертыхается отец, разбуженный внезапной музыкой. В нашем общежитии все зовут его Тимофеичем. Он садится на скрипучей кровати, шарит в темноте, чтобы выключить звук, но потом соображает: транзистор тут ни

при чем, дело — в «шляпе». Музыка еще раз вскипает и обрывается.

Дядя Юра (меня, между прочим, в честь него назвали) уверяет, что раньше гимн был со словами в честь Сталина, и его пели хором, но кукурузный Хрущ старые куплеты отменил, а новые так и не придумал. Теперь вот осталась одна мелодия. Самого Хрущева, лысого бородавчатого толстяка в мятой шляпе, с тремя звездами героя на обвислом пиджаке, сняли в прошлом году за волюнтаризм и кузькину мать. Он весь наш хлеб отправил на Кубу, и меня посылали к булочной занимать очередь. Взрослые, сойдясь за воскресным столом, горячо обсуждали эти новости, по привычке понижая голос. Они всегда так делают, если заходит речь о политике и евреях. Башашкин мне объяснил: раньше за плохие слова о вождях могли даже забрать в тюрьму, теперь, конечно, не сажают, но опаска осталась.

...Тимофеич, кряхтя, встает и выключает бодрые утренние новости про уголь, выданный «на-гора» и «третью очередь обогатительного комбината». Я воображаю булочную, к которой стоит не одна, а целых три очереди. Если бы отец вечером слушал транзистор, а не репродуктор, прикрепленный высоко в углу и в самом деле похожий на черную шляпу, ему не пришлось бы вставать теперь на табурет, как несчастному Шутову. Но Тимофеич не хотел огорчать Лиду.

Тут вот такая история: ему на работе недавно, к Двадцать третьему февраля, подарили маленький приемник «Сокол», его можно слушать, прижав, точно грелку, к уху, не мешая окружающим. Лида сердится: «шляпа»-то вещает бесплатно, а для «Сокола» нужно время от времени покупать батарейку «Крона» за сорок копеек. Но злится она не из-за жадности, просто не верит, что транзистор отцу вручил завком, подозревая какую-то Тамару Саидовну из планового отдела. Но Тимофеич без конца дает ей «честное партийное слово», и Лида, тоже член КПСС, обязана ему верить.

— А что это у нас там еще такое? — тихо спрашивает он щекотливым голосом.

— Не надо! — сердито шепчет она. — Убери руку! Дай поспать!

— Все равно через полчаса вставать.

— Не надо, говорю! Профессор, наверное, уже проснулся...

— Хочешь, проверю? Я знаю, когда он притворяется.

— Не хочу! Слушай лучше Тамаркин транзистор!

— Ну вот, снова-здорово! Я ей про Фому, она мне про Ерёму!

Отец возмущается, резко встает со скрипучей кровати. За окном лишь слегка посерело. Его белая майка движется в темноте сама по себе, словно он стал Человеком-Невидимкой. Эту книжку мы читали вместе с бабушкой Елизаветой Михайловной, когда я гостил у Батуриных, где мне из-за тесноты стелют на ночь под столом. Потом я несколько дней фантазировал, как буду бродить по общежитию, заглядывая во все комнаты, никем не замеченный.

Впрочем, у нас можно и так зайти к любому соседу без всякого приглашения. Если там ужинают, тебя посадят за стол, от души навалят в тарелку вермишели с мясом или жаренной на сале картошки с луком и, глядя, как ты уминаешь (хотя дома то же самое уже в горло не лезет), начнут выпытывать про отметки. Про что еще можно спросить четвероклассника?

А если проведать нашу Алексевну, странную старуху с мучнистым лицом и фиолетовыми губами, она обязательно в сотый раз покажет чашку с царским вензелем, которую ей бесплатно подарили в 1913 году на Ходынке. У нее в комнате всегда пахнет валерьянкой, а черный кот Цыган прыгает по шторам, как обезьяна.

Единственные соседи, у которых я никогда не был в гостях, это Комковы. Они вообще никого к себе не пускают, да и сами редко выходят наружу. Порой во двор погреться

на солнышке выползает старик Комков, одетый в ватные штаны и странный серый китель с накладными нагрудными карманами. Он никогда не подсаживается к мужикам, которые стучат под окнами костяшками домино. Соседи за глаза зовут его «вредителем». Одни говорят, что он десять лет сидел, другие — что валил лес, третьи — что лежал на нарах. В общем, не совсем понятно, чем он там занимался. Многочисленная семья Комковых глухо обитает в двух комнатах с прихожей и собственным умывальником! Оттуда время от времени доносится тяжелый неприятный запах.

— Самогон варят, — за воскресным обедом высказал догадку Башашкин.

— Хороший самогон лучше водки, — заметила тетя Валя, жена дяди Юры.

— Ну что ты такое говоришь! — Лида с удивлением посмотрела на старшую сестру. — Это же безобразие! Точно: я видела Комчиху с кошелкой сахара и дрожжей, — и она подозрительно уставилась на отца.

— Куда только смотрит милиция! — возмутился он, отводя глаза.

— Надо заявление написать. Из-за них Шутов до чертей допился!

— Не бери, Лида, греха на душу! — тихо попросила бабушка Маня. — Их будут судить, а тебя, дочка, стыдить!

Я почему-то, как и бабушка, конечно, только в мыслях, зову свою мать по имени — Лида. Хотя она выросла, вышла замуж и родила меня с Сашкой (он сейчас на пятнадцатке в саду), но внутри, по-моему, осталась той маленькой девочкой, которая рыдала на всю станцию, когда во время эвакуации отбилась от поезда.

...Нет, сделавшись Человеком-Невидимкой, я и не собирался проникать к Комковым, хотя, конечно, пионер обязан сообщать в милицию обо всем подозрительном. Есть и другие неизведанные места... Прошлым летом мой друг Вовка Лемешев на спор залез в девчачью душевую через

маленькое окно. Поднялся страшный переполох, потому что там мылась еще и наша вожатая Зоя, а у нее между ног оказалось больше кудрей, чем на голове. Вовка всем разболтал, и его чуть из пионерского лагеря не выгнали...

Тимофеич, гремя коробком, подходит к окну, встает коленом на низкий мраморный подоконник, открывает форточку и чиркает спичкой, которая вспыхивает в сложенных ладонях, напоминая бабушкину лампу под красным абажуром. В рыжем свете отчетливо видны его курчавые волосы, густые сдвинутые брови и небритые щеки, западающие при затяжке. Я осторожно выглядываю из-под одеяла: так и есть — отец курит над моим аквариумом, и пепел падает в воду, а рыбкам это вредно. В комнате пахнет «Беломором» и веет свежестью из форточки.

— Ребенка простудишь! — сварливо предостерегает Лида.

— Пусть закаляется! Ему в армию идти.

— Закрой!

— Докурю и закрою. Спи! Ты же спать хотела.

Март. Ночи еще холодные. Как говорит бабушка Аня: «Пришел марток — надевай трое порток!» Но все уже готовятся к весне. Дворники ломачами раскололи на мостовой лед толщиной с «Книгу о вкусной и здоровой пище». Огромные куски сложили пирамидами, но пока еще не увезли на грузовиках и не свалили в Язу. Мы играем в царя горы. Меня сбросили с самого верха, я упал в лужу на мостовой и загваздал масляной грязью новый свитер, связанный мне ко дню рождения тетей Валей. Ужас!

Сперва я хотел оттереть пятно ацетоном, его потихоньку дал мне наш сторож, бывший моряк дядя Гриша из шестой комнаты. Не удалось. Дождавшись, когда родители уйдут в вечернюю смену, я вскипятил воду, развел в тазу полбрикета хозяйственного мыла, но в результате свитер, прежде белый, стал свинцово-серым, как мертвый Шутов. Отжав мыльную воду, я сунул тетин подарок в диван и стал

ждать, пока натворю еще чего-нибудь, чтобы уж пострадать сразу за все.

— Почему в комнате пахнет сыростью? — спросила, вернувшись со смены, Лида.

— Я рыбкам воду менял.

— Правильно, а то сдохнут, как в прошлый раз!

— Это из-за пепла!

...Тимофеич в опасной близости от моего аквариума курит свой «Беломор», который на дух не переносят даже лютые волжские комары, и внимательно присматривается ко мне. Я это чувствую и стараюсь не шевелиться.

— Профессор спит, — многозначительно сообщает он Лиде.

— Нет! — твердо отвечает она.

«Профессор» — одно из моих прозвищ. Родители говорят, что так звали меня еще в детском саду. На обычный вопрос, как я вел себя в течение дня, воспитательницы отвечали: «Хорошо вел! Другие носятся, орут, проказят, а ваш все время сидит и думает, как профессор. Не ребенок — чудо!» Потом это прозвище забылось, и я стал «Гусем лапчатым» — из-за низкого гемоглобина. Затем меня долго обзывали «Пцырохой». И до сих пор еще иногда так кличут. О, это особая история.

Давным-давно, когда я окончил первый класс, мы ехали с Батуриными в Новый Афон, к морю. Оттуда, кстати, в прошлом году я привез большую раковину, которую своими руками, чуть не захлебнувшись, достал с самого дна, чтобы подарить Шуре Казаковой. Но выковыривая отваренного рапана, я, видимо, плохо зацепил проволочкой витиеватое тельце, и хвостик остался внутри. Пока раковина добиралась со мной до Москвы, она протухла и стала пахнуть еще хуже, чем жилище Комковых.

— Мышь, что ли, сдохла? — недоумевала бабушка Маня, шаря по углам нашей комнаты, но за батарею заглянуть не догадалась.



Спасая подарок, я влил туда духи «Красная Москва», подаренные Лиде Тимофеичем к Восьмому марта. В итоге запах стал еще отвратительнее. Пришлось оттащить раковину на чердак и засунуть между стопками старых газет. Пусть проветрится. А Шура тем временем уехала в свою «лесную школу». Вскоре дома заметили явную недостачу в витом флаконе, хранившемся в коробке с красной кисточкой.

— В чем дело?! Где духи?! — чуть не заплакала Лида.

Пришлось наврать, будто бы я порезал палец, не нашел йод и решил продезинфицировать рану духами. К этому рассказу отнеслись с пониманием: бабушка Аня в детстве чуть не умерла от антонова огня — заражения крови. Меня даже похвалили за находчивость, забыв проверить наличие болячки, на которую ушло полсклянки «Красной Москвы».

— Молодец, Пцыроха, но запомни на будущее: йод в серванте слева, рядом с валерьянкой. Понял?

— Понял!

...Отец продолжает курить, выдыхая в форточку. Пепел он, конечно, стряхивает в аквариум. А ведь обещал! Клубы дыма, серебрясь в лучах заоконного фонаря, слоями уплывают на улицу. Мне кажется, Тимофеич все еще за мной наблюдает: сплю или нет. Для достоверности я всхрапываю и чмокаю губами.

— Отойди от аквариума! — скрипучим голосом требует Лида. — Рыбки сдохнут.

— Все сдохнем.

— Ты обещал Пцырохе!

— Ты мне тоже кое-что обещала...

...Так вот, когда мы ехали в Новый Афон, поезд остановился на какой-то станции, и к открытым из-за жары окнам вагона бросились горластые местные жители с ведерками абрикосов и кульками черной ежевики. Одна шумная тетка всем предлагала жареную утку, которая утром еще кря-

кала. Пассажиры нюхали тушку и не верили. Абрикосы тоже показались тете Вале кислыми. Но поезд дернулся, и все начали покупать еду, как ненормальные. А из-за утки чуть не подрались. Я в ту пору как раз освоил букварь и разбирал любые надписи, попадавшие на глаза. Прочел я, причем очень громко, и название станции, проплывавшей за окном:

«Пцы-рб-ха».

Плацкарт содрогнулся от хохота. Даже хмурый отпускник в потной майке, не успевший забрать у продавца двугривенный сдачи, и тот нехотя улыбнулся. На самом деле эта абхазская станция называлась «Псырцха». Даже из других вагонов приходили потом смешливые попутчики поглядеть на меня, грамотея. «Пцырохой» я стал надолго, если не навсегда.

Но некоторое время я был еще и «делегатором». Как-то в воскресенье мы пошли в зоопарк, посмотрели тигров, львов, страусов, слона и стали искать крокодилов-аллигаторов. Нашли. Я воодушевился, попросил отца поднять меня на руках, чтобы получше рассмотреть чудовище, и, взлетев над толпой, закричал: «Ну, где же этот ваш делегатор?!» Народ коллективно заржал. Надвигался очередной съезд, и по радио с утра до вечера твердили про то, как «делегаты съезжаются в Москву со всех уголков необъятного Советского Союза». Каким образом в моей голове «делегат» и «аллигатор» слились в «делегатора», не понятно. Но всем очень понравилось. Башашкин рассказал про это своим сослуживцам в военном оркестре, и они просили передать мне привет. Однако прозвище «делегатор» не прижилось. А вот в пионерском лагере ко мне прочно прилепилась кличка «Шаляпин», а к двум моим друзьям — «Лемешев» и «Козловский». Почему? Это отдельная история.

В последнее время дома меня снова стали звать «Профессором», только без былой благосклонности. Недавно

я выменял за марки, подаренные Сергеем Дмитриевичем, соседом Башашкина, плоский китайский фонарик с цветными фильтрами и теперь могу читать под одеялом. Отец почему-то страшно из-за этого злится, ругается, а позавчера сорвал с меня одеяло и отобрал фонарик.

— Спи!

— Не хочу!

— Тогда дай родителям выспаться!

— Я никому не мешаю. Я под одеялом.

— Задохнешься!

— Не задохнусь.

— Мешаешь!

— Не мешаю.

— Верни ребенку фонарь! Пусть немного почитает...

— Нет, не пусть! Будет в очках, как дед, ходить. Слепнет — ты его кормить будешь? Ты?

— Не ослепну! — твердо пообещал я.

— Спать! Дай сюда книгу!

— Сам ничего не читаешь, сыну хоть дай почитать! — с непонятым торжеством поддержала меня Лида.

— Я вам сейчас всем дам почитать! — рявкнул Тимофеич, включил транзистор и стал шарить в трескучем эфире, ища что-то спортивное.

— Значит, говоришь, завком подарил? — зевая, чтобы вопрос выглядел, как можно, равнодушнее, поинтересовалась она.

— Снова-здорово! — побагровел отец, вытряхнул из пачки беломорину и, как сегодня, бросился к окну.

Удивительно, сколько неприятностей может принести такая полезная вещь, как приемник «Сокол» в кожаном чехле! Вот и сейчас бедный Тимофеич, сопя, доканчивает папиросу, бросает окурочек в форточку, и тот красной трассирующей пулей летит в мартовскую темень.

— Профессор точно спит... — жалобным голосом сообщает он матери. — Ну Лид!